

ЗАПИСКИ БЫВШЕГО МАЛЬЧИКА

Автобиографическая повесть

Ничего на свете нет,
Что мне стало бы родней,
Чем летучий детский бред
Нищей памяти моей.

Арсений Тарковский

Во мне ведь есть особенное нечто.
Я – очевидец.

Евг. Рейн

Комод между двух окошек. Ни одного из этих четырех слов мальчик еще не знает. На комодe – кружевное, свисает. Ухватившись за ручку на вишневом, мальчик встает. Хочет дотянуться до кружевного. Он уже способен на замысел, у него есть воображение. Его привлекают предметы, стоящие на комодe. Он видел их, когда его брали на руки. Всякий раз это было слишком коротко, и он не успевал ничего рассмотреть и запомнить. Ему хотелось завладеть живущими наверху предметами. Мальчик догадывается, как это сделать. Надо потянуть кружевное, и все поедет к нему само. На основе какого опыта он додумался до такой сложной затеи? Скорее всего, мальчик уже не раз что-то подтягивал к себе. Например, печенье, накрошенное для него на простыне. Тогда он видел происходящее, а сейчас вообразил возможное. А то, что в комнате никого нет и он действует без свидетелей, – это случайность? Или учитывается его замыслом? Мальчик сумел завернуть за угол комода. Здесь кружевное свисает ниже. Дотягивается, хватает, тащит на себя. Сейчас в его жизни случится важное событие. Он начнет помнить себя. До этого он просто существовал: сосал молоко, орал, пачкал пеленки. Не ожидая подвоха, он готовит свое происшествие. Приближается к ошибке. Она и включит его в окружающий мир как отдельное лицо. Кружевное

медленно сползает. Наверху что-то опрокидывается, звякает. Мальчик замирает: нет ли опасности? Появляется знакомый запах, будто в комнату вошла мама. Он продолжает тащить. Вдруг сильный удар по лицу. Что-то едкое обжигает глаза. Он слепнет. Орет от боли и страха. Я начинаюсь.

Что же включило мою память? Ведь только с нею возникаю я сам. Флакон с духами. Мои попытки проникнуть в «раньше» упираются в одно и то же: кружевное свисает на вишневом. Вспышка памяти зависит от энергии переживания. Я начинаюсь с боли. Ревущего меня умывают, успокаивают, куда-то везут, что-то со мной делают, и я навсегда запоминаю здание из красного кирпича, где меня выручили, спасли от беды. Флакон, сбивший меня с ног, конечно, яркий случай. Но, возможно, я начинаюсь и раньше. Например, это белое на полу? И крошки печенья, рассыпанные вокруг? И солнечные лучи, согревающие меня, голого? Слюнявлю палец, цепляю крошку и отправляю в рот. Питаюсь. Так меня учили. Довольно сложный процесс, требующий извилин. Флакон или печенье? Если второе, значит, я начинаюсь с чувства голода. Или удовольствия.

У моей матери была красивая фамилия – Разливина. Мои дед и бабушка по матери родили семь детей. Все девочки. Все вышли замуж. Стали Савинкова, Байратова, Никифорова. Других теток не помню. Когда умерла моя мать, красивая фамилия исчезла. Будто упало дерево. Впрочем, я хотел сказать только о том, что однажды встретились двое. Барышню звали Ася, молодого человека Коля. Он был красив, изящен, писал стихи. Барышне они нравились. В итоге появился я. Им еще найдется место в этих записках.

Младенческая память вспыхивает и озаряет короткие отрезки жизни. Оберегаемый от внешних воздействий младенец ничего не помнит. Но нельзя уберечь от всего. Например, от непредвиденного. Я никогда бы не вспомнил или, вернее сказать, никогда бы не знал, что мы с матерью переехали на другую улицу, в другой дом, если бы в этом доме не было свирепой собаки.

Дом этот в городе, но улица совершенно деревенская – с травой, курами, лошадиным пометом. Мать с отцом уже разошлись. Да, она недолго увлекалась стихами Коли. Так недолго, что я совсем не помню отца молодым, красивым и изящным. Во дворе дома бегают на цепи громадная овчарка. Все ее боятся.

По ночам, слыша ее утробный лай, я сжимаюсь от страха. Когда приходят гости, они проникают к нам через окно. Это представляет некоторую трудность, вызывает смех, веселье. В конце концов, матери как-то удалось поладить с собакой. Я по-прежнему боялся выйти на крыльцо, спуститься во двор, пройти до ворот. Когда нам надо было уйти вдвоем, мать проходила двором, снимала меня с подоконника, и мы куда-нибудь шли. Однажды окна оказались закрытыми и замазанными. Наступили холода. Тепло одетый, заплаканный, спускаюсь с матерью по ступенькам крыльца. Вдруг слышу какой-то лязг. Жмусь к матери. Она крепко держит меня за руку, торопится к воротам. Раздается какой-то свистящий звук. Оборачиваюсь. Собачья цепь на кольце, продетом в подвешенную проволоку, летит, как дуга трамвая. Алая пасть, белые клыки. Визжу как поросенок. Мать кричит. Меня вырвали у овчарки где-то возле ее будки. Снова здание из красного кирпича. Сорок уколов. Я был заплаканный, больной герой. На меня показывали пальцем — сколько терпения, выдержки, пример для всех.

Короткая вспышка памяти настигает меня в Москве. Впервые меня привезли туда еще до войны. Может быть, мы были там проездом? Ту Москву я помню не как город, а как станцию метро. Я испугался движущейся лестницы. Стоя на эскалаторе, я ждал какой-нибудь пакости. И все-таки лестница застала меня врасплох. Внезапно она исчезла, и я упал. Мне были обещаны конфеты, если я перестану плакать. Магазин был тут же, в метро. Продавщица привстала повыше, чтобы достать какую-то коробку. И вдруг масса коробок шумно полетела на пол. Вокруг почему-то засмеялись. Мне запомнилось так, будто коробки упали не по неосторожности и неловкости, а от изобилия.

Этот эпизод я часто вспоминал и позже, во время войны. Мне казалось: там, в Москве, на этой станции метро, по-прежнему много коробок с конфетами и других сладостей и если бы вдруг оказаться там, то как это было бы замечательно.

Как я оказался на Черном море, в Абхазии, совершенно не помню. Только в детстве можно перемещаться с места на место таким волшебным образом. Я в Гаграх. Мне пять лет. И отсюда, пожалуй, начинается моя история как последовательная череда событий. Память по-прежнему работает от энергии впечатлений, являя только чувственные образы, но эти образы гораздо многочисленней, они распределены во времени, и, конечно, моя память подключена к памяти матери, к тому, что я слышу от других.

Мы живем в большой светлой комнате. Дом стоит в парке. Или в саду.

И дом, и парк принадлежат большой старой женщине. Седая голова, вся в черном, курит. Она княгиня. Все обитатели дома, большие и маленькие, зовут княгиню дэдой. По-грузински – мамой. С утра слышен стук топора. У дэды есть слуга. Он колет дрова, стирает, готовит пищу. Дэда говорит ему что-то на непонятном языке. Слуга кланяется и отправляется в дом. Он выносит ковры, много ковров. Развешивает их на веревках, выколачивает пыль. Удивительно, он целый день занят работой и как будто не знает усталости. А ведь он старый. Говорят, ему больше ста лет. В это трудно поверить, потому что старичок

похож на мальчика – маленький, свежий, рыжий, с голубыми глазами. По ночам он валялся пьяный в саду. Казалось, его не пускают в дом, ему негде ночевать. Дэда тяжело расхаживала по веранде второго этажа, мимо нашей распахнутой двери, укоризненно что-то выговаривала, невидимая в черном, и только неистовство и метание ярких светляков и красная точка папиросы указывали, что вот опять она прошла мимо двери. Южные ночи чернее сажи.

Мать водит меня в детский сад. На площадке детского сада не говорят, а кричат. Рядом, внизу бежит с гор гремучая, стремительная река. Часто слышны взрывы. В горах бьют туннель. Прокладывают железнодорожную линию.

На строительстве работает моя мать. Я с опаской смотрю на черный зев туннеля, полагая, что именно там она и трудится. Я еще не знаю, что мать сидит за столом, щелкает на счетах или крутит ручку арифмометра.

В доме дэды кроме меня много других детей. Я самый младший. Со мной можно играть, как с куклой. Например, посадить в железное корыто и отнести в море. Однажды меня забывают в корыте, и волна относит меня от берега. Совсем недалеко, но я пугаюсь, зову на помощь. Надо мной смеются и показывают – надо грести руками. Я гребу. И обнаруживаю, что корыто послушное,

верткое судно. На пляже много народу. Может, потому мне так казалось, что я бывал там только в воскресные дни. Я и сейчас легко вызываю в памяти картину, запомнившуюся мне выражением силы, мощи и веселой праздничности: через пляж бегут загорелые мужчины и женщины, они хохочут, держа на вытянутых руках громадную оконную раму, вбегают в воду и бросают ее, вызывая взрыв брызг. На этой раме они уплывают далеко в море.

Однажды я оказываюсь в лодке и смотрю на пляж с большого расстояния.

Я вижу маленькие фигурки людей. Вдруг все куда-то побежали. Пляж почти опустел. На берегу что-то случилось. Сидящие в лодке еще не знали, что началась война.

Спустя много лет я снова оказался в тех местах, в Пицунде. Сажусь в автобус. И через двадцать минут я в Гаграх. Ищу дом дэды и не нахожу его. Даже приблизительно не могу угадать, где он может быть. Зато в центре вижу ту же гремучую реку, пасть туннеля в горе, электричку, выбегающую из нее, и какие-то строения, о которых память подсказывает: всё те же.

Первые дни войны запомнились горестным событием, пришедшим в дом дэды. На дороге был сбит грузовиком старый слуга. О старике говорили: умирает. Теперь дэда сама колола дрова и выбивала ковры. Я никак не мог представить старика умирающим, потому что видел, как он тащился в уборную. А однажды он запел. Старик пел, а дэда горько плакала. В доме разговаривали шепотом. Впрочем, дом опустел. Двери были распахнуты. В комнатах летали воробьи.

И пляж опустел. Купальщиков было мало. Проводились военные занятия. Какие-то люди стояли в ряд. По команде кто-нибудь выходил и кидал учебную гранату. Повыше, у дороги, рыли глубокие щели. Я уже видел похожую щель, когда хоронили дэдиного слугу. Однажды море выбросило на берег какие-то обломки. Говорили, от подводной лодки. Нашей? Немецкой? Никто не знал. Война приблизилась, не нарушив тишины. Какой-то еврей предлагал матери купить его дачу. Мать некоторое время колебалась. Очень хотелось стать хозяйкой небольшой виллы. Общее бегство преодолело соблазн.